

## Пролог

Четырнадцатого января 1815 года, около пяти часов вечера, по устланной снегом дороге от селения Вимий к расположенной между Булонь-сюр-Мер и Кале маленькой гавани Амблетёз, куда в 1688 году высадился изгнанный из Англии король Яков II, шагал священник, предшествуемый пожилой женщиной, видимо его провожатой. Он шел быстрым шагом, свидетельствовавшим о том, что его с нетерпением ждут, и беспрестанно запахивал полы плаща, пытаясь укрыться от порывов ледяного ветра, дувшего с берегов Англии. Было время прилива, и к реву валов, накатывавшихся на берег, примешивался глухой скрежет гальки, потревоженной прибоем.

Пройдя около подулье по дороге, обсаженной двумя рядами чахлах вязов — зимой их оголяла сама зима, а летом трепал морской ветер, — старуха свернула на едва заметную под снегом тропку: она начиналась справа от дороги и упиралась в порог маленькой хижины, построенной высоко на склоне холма, что господствовал над окрестными далями. Лишь слабый огонек света или масляной лампы мерцал в окне, указывая местоположение этой хибарки, совершенно утонувшей в снежной мгле.

Нашим путникам хватило десяти минут, чтобы добраться до порога; старуха уже протянула руку, чтобы открыть дверь, но та распахнулась сама, и молодой нежный голос произнес с чуть заметным английским акцентом:

— Входите, господин аббат! Моя матушка ожидает вас с нетерпением.

Старуха отступила в сторону, пропуская вперед священника, и вслед за ним вошла в хижину. Молодая девушка, открывшая им, затворила дверь и провела их во вторую комнату, единственную, где горела лампа. Лежащая в постели женщина с усилием поднялась, увидев их, и слабым голосом спросила по-английски:

— Это он?

— Да, матушка, — на том же языке ответила ей девушка.

— Так пусть он войдет! Пусть войдет! — перейдя на французский, воскликнула больная и бессильно упала на подушки.

Пройдя во вторую комнату, священник склонился над кроватью, между тем как девушка и старуха остались за порогом.

По-видимому, даже попытка пошевелиться очень утомила несчастную, и ее голова безвольно откинулась назад; слабеющей бес-

кровной рукой она лишь указала на кресло, призывая служителя Господа приблизиться и сесть напротив.

Священник понял этот знак, придвинул кресло к ее изголовью и сел.

Наступившую тишину нарушало теперь лишь прерывистое дыхание умирающей и всхлипывания, которые девушка тщетно пыталась подавить в своей груди.

Священник же воспользовался заминкой, чтобы оглядеться.

Внутреннее убранство хижины являло собой странную смесь роскоши и нищеты. Мебель здесь осталась такой, какой и подобает быть в бедном доме, вид стен свидетельствовал о том же; однако простыни на постели больной были из тончайшего голландского полотна, ее ночная рубашка — из самого дорогого батиста, а платок, охватывавший ее шею и удерживавший копну великолепных каштановых волос, окаймлял драгоценные кружева, которым Англия даровала свое имя.

Напротив кровати, разделенные лишь окном с бедными ситцевыми занавесками, висели два парных портрета мужчины и женщины в полный рост; принадлежа, по-видимому, кисти одного из знаменитых современных живописцев, они бросались в глаза великолепием красок и своими размерами.

С одной картины на священника смотрел старший офицер британского флота. На его голубом мундире, слева, под орденом Бани — весьма почитаемым в Англии, где его дают лишь за великие благодеяния, оказанные отечеству, — красовались еще три награды; знаток подобных материй без труда распознал бы в одной из них неаполитанский орден Святого Фердинанда «За заслуги», в другой — мальтийский орден Святого Иоахима, учрежденный российским императором Павлом I и канувший в небытие вместе с ним; что касается третьей, то это был оттоманский Полумесяц, заключавший в своем изгибе бриллиантовый вензель султана Селима III.

Однако особенно примечательно выглядело овеванное славой увечье, жертвой которого стал тот, с кого был писан портрет: широкий шрам, пробороздивший лоб, и черная повязка под ним, прикрывавшая вытекший глаз, не говоря уже о пристегнутом к пуговице мундира правом рукаве, где пряталась культя отнятой выше локтя руки.

Изображенный на портрете светловолосый человек был среднего роста, его оставшийся единственный глаз искрился живым умом, наконец, орлиный нос и крупный волевой подбородок свидетельствовали о решительности и храбрости, столь необходимых воину.

Напротив, женщина являла собой чистый идеал красоты и грации. Ее каштановые волосы без всяких украшений великолепными прядями

ниспадали на шею и грудь; черный цвет глаз и бровей подчеркивал ослепительную свежесть кожи; точеный нос восхищал правильностью своей формы, а по-детски полураскрытые губы напоминали розовый бутон в весеннее утро и давали возможность если не увидеть, то угадать два ряда жемчужин.

Молодая женщина на портрете была облачена в кашемировый хитон, шитый на древнегреческий лад; на ее правое плечо художник небрежно набросил пурпурный плащ; талию обхватывал широкий пояс из расшитого золотом вишневого бархата, а тяжелая пряжка была украшена камеей с профилем старца.

Было совершенно очевидно, что на этом великолепном портрете изображена сама больная: во всем ее облике, хотя ей перевалило за пятьдесят и тяжелый недуг исказил ее черты, ощущались следы той изысканной прелести, которую художнику удалось передать на холсте.

Пока служитель Господа предавался, так сказать, невольной созерцательности, страдальца медленно раскрыла глаза и устремила на него тревожный взгляд: казалось, она пытается прочесть на лице того, кого она призвала в посредники для последнего примирения между нею и Всевышним, предвестие небесного гнева или небесного милосердия.

Священник был немолод — лет шестидесяти пяти; хотя несколько выбившихся седых прядей скрадывали мягкую безмятежность его чела, лицо выдавало простоту доброй души, и во взгляде тлеяла искорка той неисчерпаемой нежности, какую Леонардо да Винчи придал выражению глаз Иисуса.

Приглядевшись к нему, больная испытала явственное облегчение и решила заговорить:

— Отец мой, во всех священных книгах, которые мне довелось прочесть, сказано, что милосердие Господне беспредельно; но я послала за вами для того, чтобы услышать то же самое от служителя Господа... Мои пороки, грехи, даже преступления (последнее слово она произнесла, понизив голос) столь велики, что мне необходимо слово такого святого человека, как вы, чтобы не умереть от отчаяния ранее, увя, близкого естественного конца.

Священник не без удивления взглянул на эту женщину с приятным голосом и умиротворенным лицом; поистине ангельское выражение ее глаз пощадила даже лихорадка, снедавшая исстрадавшуюся плоть: неужели из этих уст прозвучало столь чудовищное признание? Помедлив, он отвечал:

— Дочь моя, это страх смерти смущает ваш ум и чувства. Женщина — слабое создание, чье положение в обществе подчас вынуждает ее впадать в заблуждения и даже в серьезные грехи, однако, если

я правильно вас понял, вы обвиняете себя не только в заблуждениях и грехах, но и в преступлениях.

— О, именно так, отец мой: в преступлениях! Да, я не могу не понимать, что во времена, когда герой называл меня своей повелительницей, а королева — подругой, что в пору моей молодости, в вихре удовольствий и счастья, я не расценивала свои деяния подобным образом; однако, после того как его не стало и она тоже отошла в мир иной, с тех пор как меня постигли нищета и невзгоды — воистину, возмездие, кара небесная, — горе заставило меня усомниться в праведности моего пути. Ныне, отец мой, я увидела себя в подлинном свете: плоть мою пятнает грех распутства, а руки измараны в крови!

— Дочь моя, милосердие Господне беспредельно, — возразил пастьер, — а Иисус именем своего Отца отпустил грехи и Магдалине, и несчастной, совершившей прелюбодеяние.

Тут больная протянула руку, положила ее на локоть священника и постаралась приподняться, чтобы приблизиться к нему.

— А Иродиаде он простил? — спросила она.

Священник почти в ужасе отшатнулся:

— Так кто же вы?

— Да, воистину, отец мой, — со вздохом прошептала несчастная, — назови я вам сразу свое имя, все тотчас стало бы ясно... О, только не покидайте меня, когда я вам его открою! — добавила она.

— Дочь моя, — сказал священник, — даже если бы на моем пути оказался отцеубийца, я не оставил бы его и утешал бы, сопровождая до самого эшафота.

— Ах, эшафот — это искупление! — вскричала больная. — Если бы я окончила жизнь на плахе, а не вот так, в собственной постели, сомнения не терзали бы меня.

— Неужели вы совершили убийство? — не без содрогания спросил священник.

— Нет, отец мой. Но я позволила ему свершиться...

— Осознавали ли вы тогда, что идете на преступление?

— О нет, нет!.. Мне казалось, что я оказываю услугу королю, я возомнила, что служу Господу, но на самом деле лишь утоляла собственную жажду мщения. Неужели вы полагаете, что Господь сможет подобное простить той, которая сама не прощала?

Священник внимательно поглядел на нее. Помедлив, он спросил:

— Вы англичанка?

— Да, отец мой.

— Вы протестантка?

— Да.

— Почему же вы не послали за служителем одной с вами веры? В Булони есть пастор.

— Знаю...

Больная покачала головой и горестно вздохнула.

— Так в чем же дело? — настаивал священник.

— Наши пасторы, отец мой, слишком суровы, ведь вера наша непреклонна... А потому я не осмелилась.

— Что ж, дочь моя, тем самым вы воздали немалую хвалу вере моих отцов. Почему же вы не обратились в ее лоно?

— А если бы она отвергла меня?..

— Наша вера приемлет всех, дочь моя. Разве Иисус не сказал доброму разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю»?

— Но разбойник был на кресте, он умирал вместе со Спасителем.

— Кто умирает во Христе, умирает и со Христом, а раскаяние стоит распятия. Ведь вы раскаиваетесь, дочь моя?

— О, искренне и горячо, клянусь вам! — воскликнула грешница, воздев руки.

— Вы раскаиваетесь только лишь из страха смерти?

— Нет, отец мой, покаяние пришло ко мне, как к святому Павлу на пути в Дамаск: словно пелена спала с моих глаз, и я увидела себя такой, какая я есть.

— Но тогда вам должно быть известно, что Господь не только простил святого Павла, но и сделал его одним из своих апостолов, меж тем как тот стерег одежды тех, кто побивал камнями святого мученика Стефана.

— Как вы добры, отец мой, поддерживая и утешая меня так.

— Это мой долг, дочь моя. Когда строптивая овца удаляется от стада, невзирая на лай сторожевых собак, предупреждающих об опасности, добрый пастырь взваливает ее на свои плечи и относит в овчарню, но ведь его не может не обрадовать, если она возвращается сама! Говорите же, поведайте мне о ваших прегрешениях, я готов выслушать рассказ о них, и, если во власти скромного служителя Церкви дать вам отпущение содеянных вами грехов, вы удостоитесь прощения во имя Господа.

— Мое повествование было бы долгим и напрасным: вам достаточно моего имени; когда оно вам станет известно, вы уже будете знать все.

И вновь священник поглядел на нее с удивлением.

— Так каково же ваше имя? — наконец спросил он.

Умиравшая склонилась к нему и дрожащим голосом едва слышно прошептала два слова:

— Леди Гамильтон.

— Это имя ничего мне не говорит, дочь моя, — сказал священник. — Мне оно неизвестно, и я слышу его впервые в жизни.

— О Господи! — почти радостно воскликнула больная. — Значит, есть человек, не знающий меня! Есть уста, которые меня не проклинали!

И она откинулась на подушки, вознося хвалу Всевышнему. Но внезапно по ее лицу промелькнул ужас:

— Но ведь в таком случае я погибла, отец мой, у меня не хватит ни времени, ни сил все вам рассказать. А если я не поведаю вам ни о мучительном ужасе нищеты, ни о лихорадочной тяге к золоту, ни о неотвратимых миражах страсти; если вы узнаете из всей моей жизни только о прегрешениях, а не о соблазнах, вы никогда не простите меня... Ах, если бы вы согласились прочесть...

— Прочесть что?

— Повесть моей жизни, переданную во всех подробностях мною самой как первое искупление. Но прежде всего она послужит моей дочери, отвратив ее от пути, на который ступила я, и позволив не впасть в грехи, в которые впадала я...

— Так почему бы мне не прочитать ее, если она написана вами?

— О, клянусь кровью моего собственного сердца!

— Так почему я не смогу ее прочитать? Ответьте же, наконец, прошу вас!

— Потому что я англичанка и писала ее на английском языке.

— Я пробыл пять лет в Англии, с тысяча семьсот девяностого по девяносто пятый, и говорю на этом языке как на своем родном.

— О отец мой, отец мой! — вскричала умирающая, сжав руку священника. — Воистину, мне вас послал сам Господь, это вселяет в меня надежду на прощение.

Потом с лихорадочной горячностью она прибавила:

— Возьмите, отец мой, — и она протянула ключик, завязанный в уголок платка, который извлекла из-под подушки в виде валика. — Возьмите этот ключ и отоприте ящик вон того туалетного столика. Там вы найдете рукопись, озаглавленную «My Life»<sup>1</sup>; возьмите ее, прочтите и возвращайтесь так скоро, как сможете, если вы принесете мне прощение. Если же я осуждена, просто пришлите рукопись — я все пойму.

Священник поднялся с кресла, открыл ящик и извлек упомянутую рукопись.

— Дочь моя, — сказал он, — мне придется уделить время и обязанностям, связанным с моим саном. Поэтому я снова смогу повидать вас только завтра в тот же час.

<sup>1</sup> «Моя жизнь» (англ.).